



Центр "Петербургское Востоковедение"
St.Petersburg Centre for Oriental Studies

ПЕТЕРБУРГСКОЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЕ

**ST.PETERSBURG JOURNAL
OF ORIENTAL STUDIES**

**выпуск 8
volume 8**

**Центр
«Петербургское Востоковедение»**

**Санкт-Петербург
1996**

Чему учиться у Петрова

13 января исполнилось десять лет со дня смерти Виктора Васильевича Петрова. 10 лет... Вряд ли кто-нибудь не согласится: все состоявшееся за эти годы в близких Петрову областях науки состоялось бы в лучшем качестве, если бы он к тому свою руку приложил, и от скольких недоразумений и огрехов могла бы защитить его рука! «...Не говори с тоскою — нет, а с благодарностью — были!» Совет благой, но к Петрову приложим лишь наполовину: с благодарностью — о, да! — все растущей и углубляющейся, но и с не менее растущей и углубляющейся тоской, заставляющей то и дело, по самым разным поводам повторять снова и снова: ах как нет Виктора Петрова, ах как его нет!

Название для своих раздумий заимствую у Л. З. Эйшлина: в его эссе «Чему учиться у Алексеева» [1, с. 5—13] речь идет о взглядах на науку и на правила поведения в ней человека науки — тема, похоже, вечная и актуальная во все времена, а уж в наше — особо. На вопрос: чему учиться у Петрова, — ответил посвященный ему сборник «Точность — поэзия науки» [2], одно из первых изданий нашего Центра «Петербургское Востоковедение». Не пересказывая здесь его статей, считаю все же нелишним напомнить о некоторых.

Пример научной жизни Петрова во многих отношениях особо поучителен — Алексеев употреблял в таких случаях старомодное «учителен», оно глубже. Учительность посвященной Петрову книги не замкнута китаеведением: ученый любой отрасли востоковедения, да и шире — любой отрасли гуманитарной науки, а в чем-то и науки вообще, — может извлечь из нее и конкретный совет, как лучше устроить свою научную жизнь, и повод для раздумий о том, как себя в научной жизни вести. Виктор Петров умел себя вести по самому высокому счету, потому и смогло его имя объединить для создания книги по крайней мере двадцать очень разных людей — факт, говорящий за себя, особенно в наше время всяческого и повсеместного сепаратизма.

Удивителен психологический момент: вроде бы все мы и всегда хотим «житья со всеми сообща», но как при этом редки примеры людей, способных это желание претворить в действие и противостоять тенденции ухода, по выражению Алексеева, в свои норы. Так понятен уход в свою работу, свою тему, когда и на них сил не хватает, понятен — и губителен для общего дела, да и своего частного тоже. Тем и притягательно имя Петрова, что в нем каждый чувствует зарок живительной объединяющей идеи.

В науке — как и везде — самый большой воз везет тот, кто, видя нужное дело, не оставляет его кому-то, а берется за него, даже если для этого приходится жертвовать делом собственным, тоже нужным. Я пересказываю слова Алексеева о С. Ф. Ольденбурге, перед самоотверженностью которого Алексеев преклонялся, и сожалел о той другой жизни, «которая могла ведь при его исключительных дарованиях расцвести в его индивидуальной сосредоточенности всеми яркими цветами громадного научного творчества, но была принесена в жертву всем другим, всем нам» [3, с. 10]. Меня можно упрекнуть в использовании цитаты не по назначению, однако сказанное об Ольденбурге приложимо к Петрову с точностью, которая говорит о правомочности такого переадресования. Да и сам «генетический» ряд, в ко-

тором Петров — внук Ольденбурга, через связующее поколение — Алексеева, представляется вполне естественным.

По существу, все сказанное Алексеевым об Ольденбурге соответствует образу Петрова — с внесением, конечно, существенной поправки на разницу во времени и в положениях. Меня особо занимает один момент. Жертвуя своим индивидуальным творчеством, или хотя бы урезая его, ученый знает, что общее мнение коллег жертвы не оценит: в почете всегда имя, с которым связано исследование, открытие, томы сочинений — все то, что только и считается творчеством. В дневнике К. И. Чуковского Ольденбургу дана убийственная для самолюбия ученого характеристика: «...усваиватель, но не созидатель. Ему легче прочесть тысячу книг, чем написать одну» [4, с. 117]. С горечью подтверждает существование таких оценок и Алексеев: «...были и враги, считавшие его деятельность неэквивалентною научной кабинетной и излишне демонстративной» [3, с. 24]. Нечто близкое приходилось слышать и о Петрове, и, конечно, он знал об этом (как знал в свое время и Ольденбург). Подобные колючки не могли не царапать, но на линии поведения не сказывались. У Виктора Петрова прежде всего, может быть, надо учиться внутренней свободе от обременяющего душу тщеславия, от погони за престижностью (противное слово, которое раньше и употреблять стеснялись).

Все это определилось в Викторе Петрове сразу. Можно, конечно, считать, что выбор пути, который он сделал, еще не выйдя из студенчества, — преподавание — был продиктован обстоятельствами. Но ясно, что Петров принял этот диктат с открытыми глазами, понимая на что себя обрекает — перед глазами были живые примеры, да и наверняка не раз слышал сетования Алексеева о судьбе съеденных преподаванием в прошлом и настоящем русских китаистов [см.: 1, с. 153—154]. Петров понимал, что становится в ряд «съеденных», но, по молодости, а, главное, зная в себе силы недюжинные, хотел и под этим тяглом успеть объять необъятное. Несомненно и то, что преподавание, как таковое, влекло его, было одним из самых сильных призваний и оказалось делом жизни, — об этом повествует статья Е. А. Серебрякова [2, с. 108—136]. И все же Петрову были понятны и сетования «съеденного» преподаванием Алексеева, и постоянные его сомнения: «Не могу понять, кого во мне больше: педагога или ученого?.. Привычка мыслить вслух и вчитываться с особой силой в текст в аудитории, где себе ничего уже не извинить, основательно вопиет против исключения из программы жизни преподавания» [1, с. 152]. Эту заметку-афоризм Алексеева Петров читал с особой интонацией, делая ударение на «ничего не извинить». Об ораторском мастерстве Петрова знают все, но не всем, может быть, ведом этот вот его необходимый компонент, необходимое условие мастерства и — ответственности перед аудиторией.

Возведенная в принцип научная точность, которую разделяют отнюдь не все филологи, требует создания рабочей лаборатории. Раньше других и глубже других это понял Алексеев, старался передать это понимание своей смене и был бы счастлив увидеть рабочий кабинет Петрова: исключительную по целенаправленности библиотеку, картотечные кубы, штабели папок — лаборатория или банк данных, накопленных силами одного человека, к тому же получавшего всю жизнь мизерный оклад преподавателя. В этом «Петровском банке» оказались сведения, из которых многие полностью уникальны — их больше нет нигде, ни в одной стране, включая сам Китай после пронесшегося над ним цунами «культурной революции». Так, в канцелярских папках архивного фонда Петрова, который хранится в Архиве востоковедов ИВ (см. о нем в статье Л. Н. Меньшикова — [2, с. 137—157]), дочь известного китай-

ского литератора и русиста Цао Цзин-хуа обрела, по ее словам, по крайней мере две трети всех собранных ею материалов, касающихся жизни и деятельности отца.

По мысли Л. Н. Меньшикова, Виктор Петров, избрав новую и новейшую китайскую литературу своим главным научным направлением, с самого начала стремился к ее всеохвату, считая необходимым зафиксировать всю ее панораму, а не только литературные вершины, которым в то же время посвящал отдельные исследования (после Ай Цина, Лу Синя, Ба Цзиня должны были последовать и многие другие писатели XX в.). О том, насколько удалось Петрову это вроде бы невыполнимое по размаху предприятие, говорят такие выразительные факты. На полках библиотеки Петрова, которая хранится ныне в РНБ (см. статью В. В. Бакалюк — [2, с. 169—190]), стоят книги, отсутствующие в библиотеках их ныне здравствующих авторов. Не удивительно, что некий синолог-иностранец обратился к Меньшикову с вопросом-просьбой: нельзя ли издать на английском языке (русский знают немногие) описание библиотеки Петрова? Лев Николаевич мог только грустно улыбнуться. Убедителен и парадокс, сообщенный мне хранительницей библиотеки Петрова в РНБ В. В. Бакалюк: среди запросов, приходящих в библиотеку, был и запрос от такого знатока китайской книги, как Б. Л. Рифтин — с Тайваня, где он не смог найти нужную справку. А об условиях, в которых работает на Тайване Рифтин, он пишет мне так, что при всей моей далекости от науки и у меня дух захватывает: «Каждый день сижу с утра до 17 ч. в библиотеке, в зале справочников, и каждый раз вспоминаю Василия Михайловича и Витю. Количество справочников по синологии (а тут еще не все) огромно. Зал метров 200 весь заставлен. В другом зале журналы китайские и европейские, тоже не все, но штук 200 или более. Стыдно, но нет времени даже просматривать. Витя бы не простил».

Однако наиболее убедительное — ошеломительное — впечатление производит картотека Петрова, стоящая в помещении библиотеки. По подсчету В. В. Бакалюк, в 48-ми картотечных ящиках находится не менее 72 тысяч карточек. 72 тысячи! И не все ведь дались путем простой выписки — многие тысячи потребовали выслеживания, дознания личного, во время пребывания в Китае и через постоянную, без усталы переписку. Валерия Витальевна называет картотеку Петрова энциклопедией китайской и китаеведной филологии, в которой невозможная, недостижимая широта охвата сочетается со скрупулезной педантичной точностью. Каждая из 72-х тысяч карточка заполнена образцово, по Алексееву — научно грамотно, каждое китайское название дано в иероглифах и русской транскрипции, каждое печатное сочинение имеет полный библиографический адрес с точностью до страницы, даже журнальной. Хранительница библиотеки пыталась сделать сводку-описание картотеки — и сникла перед ее необъятностью так же, как ранее спасовал перед архивом Петрова (около трехсот канцелярских папок хранятся в Архиве ИВ) пытавшийся его описать архивист: поначалу пришел в экстаз от открывшейся ему системы накопленных данных, но потом, не совладав с их размахом, не смог дать даже обещанного очерка в сборник Петрова. Тем более пасую и я, не имея возможности хотя бы перечислить сообщенные мне Бакалюк названия тематических (и то только главных) разделов картотеки — их перечень не влез бы в размеры статьи. Но чтобы подкрепить общие фразы конкретными, как любил Петров, примерами, назову почти наугад.

Раздел современной литературы занимает 23 картотечных ящика, в нем зафиксирован 1821 современный китайский автор, причем крупным именам даны биобиблиографические сведения. В разделе современного литера-

туроведения, начиная с 1917-го и до середины 1980-х годов, не забыт никто и ничто — вплоть до диссертаций советских китаистов-филологов, рецензий на переводы китайских авторов и даже высказываний о китайской литературе в советской прессе. В разделе истории востоковедения и китаеведения представлены имена ученых России и СССР (385 авторов и их труды, вплоть до предисловий и рецензий, с выходными данными), Европы, США и Японии (японская синология выделена в особый раздел). И так далее... Когда кубы с картотекой Петрова демонстрируют студентам приводящие их в библиотеку преподаватели, юнцы в восхищении и испуге растерянно бормочут: «Но ведь так надо всю жизнь...» Да, так оно и было: картотека собиралась всю жизнь, к тому же жизнь, загруженную непрерываемой преподавательской работой, к тому же — оказавшуюся недолгой. Алексеев не раз напоминал о пагубной человеческой привычке изучать культуру лишь по черепкам и обломкам. Новой и новейшей китайской литературе крупно повезло на Виктора Петрова.

Повезло, но... В статье об Ольденбурге Алексеев приводит горькие его слова о фатальной судьбе русской науки: «широкие замыслы, застывшие как бы на полуслове, груды ненапечатанных, полузаконченных рукописей. Громадное кладбище неосуществленных начинаний, несбывшихся мечтаний. Всего два, в сущности, с небольшим века этой молодой русской науке, а как длинен ее мартиролог» [3, с. 9—10]. Это сказано в 1918 году. Ныне русской науке перевалило за три века, и длина мартиролога вытянулась так, как Ольденбургу и в кошмаре не снилось. Мартиролог продолжает пополняться и в наше время. Может занять в нем место и картотека Петрова — осуществленный титаническим трудом широчайший замысел в какие-то секунды, не дай Бог, уничтожит очередной пожар или потоп. И это в компьютерное время, когда весь этот уникальный и неповторимый источник информации, будь он заложен в дискеты, мог бы служить не только нашей, но мировой синологии.

Название посвященного Петрову сборника — «Точность — поэзия науки» — лишь у одного ученого вызвало возражение, а одобрение — у многих. Хочется думать, что сам Петров присоединился бы к большинству. Хотя бы потому, что в его пристрастии к точности заключался не только научный принцип, но чувствовалось нечто глубоко личное, вкусовое, он смаковал филологические точности, как смакует поэтические строчки. «Филология — наука точная» — таково было его твердое убеждение, но ведь и образ становится поэзией, лишь когда он точен. Неукоснительная точность Петрова выражалась в быту излюбленным его выражением: «В голосе моем нет металла», — когда в своем ответе на заданный вопрос он был уверен лишь на 99,9%. Лишь после досконального дознания в голосе появлялся металл. И вдохновение — поэзия — точного знания.

Чувством точности, по существу, определялось и все поведение Петрова в науке. Принцип, которым руководствовался Петров, не нов: делаю дело, только о нем и думать, из его интересов исходить. Такова первая заповедь ученого, все ее знают и, как и прочие заповеди, нарушают в силу самых разных соображений и обстоятельств. Петров был из тех, кто следовал заповеди без отступлений. С особой наглядностью это проявлялось в его отношении к рождающимся книгам — он не допускал тут никаких послаблений ни себе, ни другим, и много раз я слышала его сердитое: «Мы делаем книгу, а не какую-то новостройку».

Участие Петрова, чаще всего безвестное, в работах — статьях и книгах — коллег нельзя определить количественно: никто, прежде всего он сам, не считал в страницах и листах прочитанные им, исправленные и дополненные труды. Синологическая лаборатория Петрова работала на всех, нужные

сведения и справки выдавались безотказно всем, за редким исключением тех, кто, ревниво оберегая свое самолюбие и невежество, за помощью не обращался и Петрова сторонился. Но это были, слава Богу, именно исключения — общею была благодарность, которую однажды, как помнит Л. Н. Меньшиков, высказала за всех О. Л. Фишман: «Какое счастье, что у нас есть такой рецензент, он нас избавляет от стыда за ошибки, которые могли бы без него остаться незамеченными» [2, 143]. Отзывы Петрова нередко приближались по объему к рецензируемой работе, а по качеству сплошь и рядом ее превосходили, и, как считает Л. Н. Меньшиков, их следовало бы издать — в печатание пишущим и как самостоятельные труды. Конечно, на чтение и исправление чужих работ щедро тратили свое драгоценное время все настоящие, думающие об общем деле ученые. В статье об Ольденбурге Алексеев особо говорит об этой его «коллективной продукции, оставившей одного из членов коллектива анонимным» [3, с. 17]. То же читаем и в статье Алексева о И. Ю. Крачковском, то же можно сказать и о нем самом. И все же легко может статься, что Петров поставил тут, если и не рекорд, то что-то к нему близкое.

Одним из последних в жизни Петрова участия в подготовке к изданию «чужих» книг (для него чужих не было — все было делом общим) оказалось исправление многих и существенных огрехов в предисловии и аннотациях к альбому китайских народных картин из коллекции Алексева, хранящихся в ГЭ. «Chinese popular prints» вышел в издательстве «Аврора» уже после смерти Петрова в трех вариантах: английском, немецком и французском. Акт самоотверженной — Петров был уже тяжело болен — работы уложился в «Reviewed by Victor Petrov» на титульном листе. Об этой героической и грустной истории, оказавшейся одной из последних страниц его биографии, я писала подробнее в очерке «Книги продолжают выходить» [2, с. 231–244]. Можно порадоваться тому, что ныне тем же издательством готовится русский вариант альбома, и хочется верить, что участие Петрова в подготовке книги будет отмечено особо — по достоинству.

Считается, что незаменимых нет, но эта расхожая мудрость верна лишь в одном смысле: жизнь продолжается, книги выходят и без Петрова. Выходят — и вызывают к его имени, убеждая в том, сколь многому следует учиться у Петрова всем книгоделателям. Для наглядности и конкретности хочу сказать о двух недавних изданиях, стараясь взглянуть на них его глазами. Нарочно выбираю книги очень разные — заведомо негодную и заведомо хорошую, даже замечательную.

Вышедший год назад в двух томах «Биобиблиографический словарь отечественных востоковедов» [5] — издание, как означено на нем, расширенное и дополненное. В первом, 1975 года, несмотря на неполноту, о которой не раз слышала сожаления Петрова, не было тех сокрушительных огрехов, коими богато новое издание — к первому Петров руку приложил, второе, будь он жив, могло бы быть так же спасено им, хотя бы по части дальневосточной. Но теперь... Ясно вижу белое от ужаса лицо Виктора, буде он заглянул бы в эту столь близкую его сердцу книгу. Один, но достаточный пример. Из весьма краткой, чтобы не сказать — куцей, статьи о знаменитом Н. А. Невском узнаем, что он, оказывается, состоял сотрудником ИВ до 1946 г., хотя в датах в начале статьи указан год смерти — 1937. Безответственность огорчительна всегда, а тут... С грустью убеждаюсь, что для многих из нынешнего поколения востоковедов это только путаница, белиберда, вызывающая смех. Но Невский не умер, Невский был расстрелян 24 ноября 1937 года в числе девяти расстрелянных в этот день востоковедов. Вообще, в биографиях оте-

чественных востоковедов не было, судя по статьям в этом «словаре», ни арестов, ни лагерей, ни расстрелов — эти «детали» опущены то ли из хорошо знакомой нам предусмотрительности, то ли для экономии места на обстоятельные, куда длиннее, чем отведенный Невскому столбец, статьи, посвященные разного рода чиновникам от востоковедения.

Виктор Петров был бы просто болен от этого «расширенного и дополненного» издания столь необходимой книги, которой предстоит служить и служить востоковедному делу, внося в него уже трудно вытравимую чепуху. Резон, который слышала уже не раз — лучше такая, чем никакой, — для Петрова не существовал, он был максималист, уверенный, что на подобного рода резонах и зиждется наше убожество.

Есть надежда, что в этом году в Москве выйдет биобиблиографический словарь «Востоковеды в ГУЛАГе. 1917—1991», над которым работали Я. Ф. Васильков, Ф. Ф. Перченков и московские архивисты, и он восстановит правду вещей. Ах как бы включился в это дело Петров, как бы пригодился его опыт, полученный еще тогда, когда, не дожидаясь разрешенной свыше гласности, он, при участии Меньшикова, в одном лишь комментарии к статье Алексева «Советская синология» сумел раскрыть 11 имен уничтоженных или отбывших лагеря ученых.

Следующий пример выбран, как я уже говорила, по принципу контраста. Речь пойдет о книге, которую мы долго ждали и, что и говорить, в ожиданиях не обманулись, — «Книге воспоминаний» классика нашего востоковедения И. М. Дьяконова. Книга неповторима, ибо кто еще способен на такой труд, и тем огорчительней встречать в ней обидные недостатки, обидные уже по тому, что их можно было избежать, следуя «петровским» нормам книгоделания. Первое огорчение — отсутствие указателя к толстому тому, на семистах с лишним страницах которого блуждают толпы имен. Конечно, упрек этот (Алексеев сказал бы — реприманд) относится не к автору при его занятости и летах, но — к его окружению, в котором не нашлось последователя Виктора Петрова, — похоже, что никто из близ стоящих учеников и родичей «Науку о Востоке» в глаза не видывал. Досадны немалые неточности, которые видишь даже в заключающем книгу синодике. А ведь не было бы этих ошибок, касающихся судеб человеческих, кабы по принципу Петрова были наведены нужные справки.

Однако самые глубокие огорчения вызывают в книге Дьяконова — книге замечательной и потому не оставляющей читателя равнодушным ни к заслугам, ни к недостаткам — разного рода и разной тяжести несправедливости в оценках известных людей. Назову лишь одно имя — В. В. Струве. (Уверена, что Виктор Петров простил бы это отступление от темы.) Все, кто знал Василия Васильевича, читают посвященные ему в книге характеристики с неприятным удивлением. У меня, кроме этой общей реакции, возникает желание противопоставить сказанному Дьяконовым выступление Струве, зафиксированное в стенограмме, в июне 1938 г. на заседании в ИВ, посвященном обсуждению статьи «Лжеученый в звании академика» — единственное открытое и решительное выступление в защиту «лжеученого» Алексева. Почем дается мужество такого рода нашему с Игорем Михайловичем поколению известно слишком хорошо. Кстати, ни о статье, ни о травле в книге нет ни слова, хотя все это касалось не только Алексева (его в книге тоже нет, что странно — фигура, вроде, заметная), а было атакой партневежества на остатную чистую науку, которую теперь именуют фундаментальной. Нет, прав был Петров, когда настаивал на том, чтобы о всем существенном для изла-

гаемого сюжета было сказано хоть несколько слов: умолчание, по Петрову, та же неточность.

Если бы Господь продлил лета Виктору Петрову и сподобил на писание мемуаров, в его книге воспоминаний не было бы незаслуженных обид и неоправданных умолчаний. И причиной тому был бы не только душевный склад Петрова, но прежде всего его подход к людям и событиям, исходивший опять же из интересов общего дела: в каждом «отдельно взятом» человеке он считал нужным не упустить что-то для дела полезное, и о недостатках говорил лишь с оговоркой-поправкой на эту полезность, которая звучала обычно так: «Он (она) свое дело знает». (Правильность такой установки легко почувствовать, примерив ее к себе лично или к тем, кто близок и дорог.)

Что превалировало в отношении Петрова к людям — абстрактный гуманизм или рационализм, не берусь судить, так же как и о том, что тут было врожденным, а что — продолжением воспринятой традиции. Знаю, как радовался Виктор, встречая в архивных документах Алексеева свидетельства его поддержки кого-то из враждебно к нему относившихся, против него выступавших — в том случае, конечно, если этот противник имел в глазах Алексеева научную полезность, тем более — ценность. Такого рода прагматическое благородство Алексеев понял и оценил в Ольденбурге, так что снова видим «генетический» ряд, а что в нем преемственность и что совпадение натур — не так уж и важно. Важно учиться этому трудному, но обязательному искусству поведения в науке.

В статье об Ольденбурге Алексеев считал важным сказать особо о такой ни в каких документах не зафиксированной стороне деятельности, как улаживание конфликтов и обработка скверных характеров, «стремительно портящих академическое дело» [3, с. 23]. На моих глазах такую же функцию пытался выполнить Петров, когда разгорелась вражда между двумя его старшими коллегами, равно им почитаемыми и любимыми. Уверена, если бы к позиции Петрова присоединились и другие близ стоящие, скандал заглох бы сам собой, не причинив стольких повреждений и действующим лицам, и самой науке. Но у слишком многих виделся в глазах огонек заинтересованности, и история *odium sinologicum*, о которой с болью писал Алексеев, пополнилась горестной и досадной страницей. Увы, боюсь, не последней.

Говоря о том, чему следует учиться у Алексеева, Эйдлин особо выделил манеру критики: «Только поиски истины, желание добра критикуемому, полное отсутствие боязни недоразумений, незатемненность научных суждений личными отношениями — вот главное в алексеевских оценках. Приходится пожалеть, что порою нами утрачивается секрет подобной критики» [1, с. 11]. Увы, в своем сожалении Эйдлин был прав и даже самокритичен. Но, думаю, согласятся все, что Виктор Петров владел этим секретом полностью. Дополню цитату: «безоговорочную критику Алексеев ставил рядом с безоговорочной же похвалой...» Нет, согласитесь, не случайно эти цитаты с чужого плеча так по фигуре Петрову! Виктор был мастером безоговорочных похвал, и хотя бывало, что он отпускал их в кредит, но кредиты в большинстве своем оправдывались, и можно только пожалеть, что пример Петрова воспринят лишь немногими и комплименты в среде ученых огорчительно редки.

При всем при том, Виктор отнюдь не был сладостно причмокивающим, по слову Алексеева, добряком — у его доброты были четкие пределы. По большому счету: не прощался не только национализм, что в востоковедении понятно и обязательно, но и всякое к нему приближение, и любой «невинный» антисемитизм отменялся им без всяких оговорок. Не прощалось и вражде, в любых, даже общепринятых дозах (свою любовь к маленькому внуку

объяснял тем, что малыш ни в чем не врет). Снова примеряю на Петрова сказанное об Алексееве: «Для Алексеева — пишет Эйдлин, — добро и зло существовали не прагматически, не в применении только к самому себе. (Вспомним известную шутку Е. Шварца: “Интеллигентным человеком я называю того человека, который ко мне хорошо относится”. Алексеев даже в шутку этого бы не сказал.)» [1, с. 12.] Первая реакция на это противопоставление скорее в пользу Шварца. Однако к остроумию были чутки и Алексеев и Эйдлин — речь идет о том, что всему, даже шуткам есть нравственный предел, упор, который не должен быть перейден и ради красного словца. В отошедших поколениях чувство этого рубежа воспитывалось с детства и сохранялось на всю жизнь. В нашем поколении оно уже сильно ослабло, «устарело». Виктор Петров был из тех, кто его в себе хранил.

Это все — по счету большому. Но и по счету малому доброта Петрова была далека от универсального добродушия. Он не любил в людях серость, с трудом ее терпел. Как-то в университете преподаватель Петров при мне вправлял мозги какому-то хвостисту. Когда тот ушел, я не сдержала удивления по поводу его серости. «Серый — красивый цвет, а это — цвет заношенной портянки», — сказал Петров с чувством, которое легко понять: лектор-оратор по самой природе своей не может простить равнодушия безвольного. По выражению Алексеева, серья, о которое разбивается всякое вдохновение. Вообще же, ко всем, кто на порядок его ниже, Петров относился как сильный к слабому — с готовностью прийти на помощь без тени обидной снисходительности. По какой-то психологической, видно, закономерности, слабые, таковыми себя, как водится, не считающие, отнюдь не всегда принимали его помощь с признательностью, и все известные мне случаи негативного отношения к Петрову имели, мне кажется, такую именно подоплеку. Однако случаи эти были явлением аномальным, нормой была радость от любого, хотя бы чисто делового, общения с Петровым. Помню, как всякий раз светлела лицом О. Л. Фишман, обращаясь за справкой или советом к этому своему бывшему ученику.

Об отношении Виктора Петрова к своим коллегам можно судить по сборнику, ими ему посвященному. Виктор умел быть другом и по делу и по чувству — радостно сопереживал любую, даже маленькую победу, мрачнел от чужой беды. И тяжело, нутром переживал утраты — его слово над гробом Андрея Бабинцева — из самых проникновенных, какие довелось слышать. Я видела, как страдал Виктор, когда 29 октября 1985 года умер Лев Залманович Эйдлин, а он не мог поехать в Москву на похороны из-за своей уже необратимой болезни. 17 января 1986 года умерла Ольга Лазаревна Фишман. Виктор через силу — настолько через силу, что страшно было смотреть — проводил ее в последний путь. Через год подошла его собственная дата.

Присущая Виктору и вряд ли повторимая тональность дружеского общения хорошо слышна в воспоминании Л. Е. Черкасского [2, с. 191–205], ныне профессора университета в Израиле. Только и скажешь: «Иных уж нет, а те далече...».

Деловая и душевная ответственность Петрова с наибольшей, быть может, силой проявлялась в его отношении к «далеко отошедшим» (слова из «Луньюя» в переводе Алексеева). Научный аппарат к «Науке о Востоке» строгий Эйдлин назвал научным подвигом. Об этом подвиге я старалась рассказать в пространной статье в сборнике Петрова [2, с. 205–230]. И все же смогла сказать далеко не все: в статейном жанре не описать хождений-рысканий по архивам и в холод-гололед, и в пыльную летнюю жару, не сосчитать и приблизительно часов (дней? месяцев?), ушедших не только на саму работу с архивными материалами (единственно отрадные часы), но и на преодоле-

ние всяких бюрократических оформлений, сбоев в выдаче заказанного и т. п. Хорошо, пожалуй, что в кармане Петрова не было счетчика — он показал бы такую цифру, такой счет жизни, что, боюсь, самому Виктору стало бы не по себе. Хотя о своей работе он и писал чешской китаистке, ныне тоже покойной, Анне Долежаловой: «Эта работа важная и нужная, но не на публику. Для меня она была и почетной, и полезной, и поучительной, и увлекательной, но при всем этом неимоверно трудоемкой... Вопреки мнению некоторых моих коллег, это не потеря времени, а обретение знаний». Конечно, все так и было, обретение знаний вызывало такую радость Петрова, которой скептики могли бы позавидовать (если бы могли ее понять). Но было еще и другое.

Я не раз слышала сетования Виктора на то, сколь много было Василию Михайловичу не додано и сколь много отнято. Разбирая архивные документы, мы встречали все новые тому подтверждения, — и обычная сдержанность изменяла Петрову. В ящике письменного стола Виктор хранил открытку с изображением архаической каллиграфии — почерка «Летящий лебедь». На открытке надпись: «Благодарю и чувствую. Летящему и парящему в небе дорогому лебедю. В. Алексеев». Внизу приписка: «Не забывайте меня и в захудении моем». Звучит, не правда ли, прямо как «Прощай, прощай, и помни обо мне...» — завет тени Гамлета-короля Гамлету-сыну. На открытке даты нет, но судя по всему, это осень 1949 (весной прошла последняя в жизни Алексеева «проработка» — в идеологической мясорубке). Тогда же Алексеев жаловался в письме Эйдлину: «От меня не зависит ничего, но спрашивается все. Прямо руки от работы отваливаются, ибо руки работают, а ДИРИВ дает по рукам» (Директор ИВ — Боровков). Все это Виктор Петров помнил всегда — он был из тех, для кого память — чувство, а не отписка, и в ней покаяние присутствует как движущая сила.

Б. Л. Рифтин, ученик и Алексеева и Петрова, несомненно заслуживающий по их шкале аттестации «точного ученого», задумался, как он пишет мне с Тайваня, над вопросом, который задал ему представитель следующего поколения востоковедов, тоже точный ученый К. С. Яхонтов: почему в нашей отечественной науке столько внимания уделяется ее прошлому, тогда как в западных странах ученые интересуются своим прошлым крайне мало или не интересуются вовсе? Перед Рифтиным, опубликовавшим за последние годы в китайских журналах и газетах целый ряд посвященных русским ученым-предшественникам статей, такой вопрос не возникал — так же как и перед Алексеевым, Ольденбургом, Бартольдом, Крачковским — интерес к истории науки казался сам собой разумеющимся, так уж у нас повелось. Но почему у нас повелось, а на Западе не повелось?

Хотелось бы знать, что сказал бы по этому поводу Виктор Петров. В длинном списке имен, названных в его статье «Китаеведная филология в Петербургском — Ленинградском университете» [2, с. 13—96], многие были, казалось, безвозвратно потеряны. Петров вернул в историю науки даже «мелкие» имена — табель о рангах была ему не важна, было важно общее дело. Стремление Петрова к полноте и точности было в то же время — *eo ipso* — стремлением к справедливости, и для восстановления ее он не жалел времени и сил. В числе им, так сказать, реабилитированных были отнюдь не только жертвы большевистского террора — биографии ученых на Руси складывались трагично и до 17-го. «Жуткое чувство испытывает тот, кому приходится заниматься историей науки в России...» — такими словами начинает Ольденбург свою статью о В. П. Васильеве, цитированную Алексеевым [3, с. 9—10]. Это жуткое чувство впиталось в кровь людей русской науки, не потому ли они и не могут забыть свое прошлое по примеру западных ученых, у кото-

рых такого прошлого все же не было. У нас не оглядываться на былое могут только люди, именующие себя прагматиками. Петров при всей своей порой дошней педантичности прагматиком не был никогда.

В комментариях средневекового философа Чжу Си к «Суждениям и беседам» Конфуция, введенных Алексеевым в его перевод «Лунъюя», читаем: «...людям свойственно легко переходить к небрежности в отношении к скончавшимся и к забвению памяти далеко от нас отстоящих предков. Но тот, кто, несмотря на эти естественные упущения, все-таки сумеет быть настороже и послать свой привет незримым и далеким, идет по пути благородной толщи» [7, с. 439]. Виктор Петров следовал по этому пути как истинный конфуцианец. Но можно взять и другую цитату, ближе к нам на две тысячи с лишним лет — и все останется в силе:

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека
И все величие его.

В словарях толковых и орфографических слова «самостоянье» нет. Где-то, помнится, читала, что его придумал-сотворил сам Пушкин для этого именно контекста. Что разумел он под ним? Понятие такой емкости, что лучше и не пытаться заполнить ее перечислением человеческих достоинств. Ясно одно: не ко всем, даже заведомо хорошим людям оно приложимо. К Виктору Петрову — как редко к кому, глубоко и точно. Думаю, что от этого моего утверждения Виктор не стал бы по своему обыкновению отшучиваться — мне кажется, он сам знал это в себе, в своей душевной толще.

В заключение позволю себе немного лирики. Выступая по нашему радио в Авторском канале, ныне перекрытом, Элисо Вирсаладзе сказала, что может за пять минут игры незнакомого пианиста определить: живет он музыкой или использует ее для устройства своего житья. Думаю, те же пять минут нужны были Алексееву чтобы понять, будет ли жить наукой молодой человек, есть ли у него необходимый аппетит к ней: «Идеальным является удовлетворение аппетита. Кормить сытого или больного — значит не давать ему радости...» [3, с. 343]. Не давать ему и самому не получать. Высшей радостью Алексеева было обретение учеников со здоровым аппетитом, Виктор Петров — один из самых ненасытных, не знавший перенасыщения ни в студенческие годы, ни потом. Чтобы дать почувствовать научный аппетит Виктора — и позавидовать ему! — приведу пару выдержек из его писем жене из Китая в 1959 году [см.: 2, 158—168]: «Книжные магазины Пекина изучены полностью... Сдерживаю страсти, но уже не сдержал их на 80 книг». Через некоторое время книг уже 400. «Обуреваем жадностью, все же купил роскошный словарь Цуншу да цыдянь. И очень нужно, и очень редко, и очень дорого. Но что делать? И так я постоянно бью себя по рукам, которые тянутся к книжным полкам Дунъань шичана».

Такой аппетит можно назвать азартом — натура Виктора и была азартной, что проявлялось и в запойных научных занятиях (мог работать чуть ли не круглосуточно), и в таком несколько неожиданном для филолога до мозга костей, каким был Петров, увлечении, как грибная охота. Азарт грибника был настолько силен, что, по моим наблюдениям, Виктор не был тут свободен от зависти-ревности к успехам других грибников — в науке, как всем известно, такого с ним не бывало.

И все же в основе научного чувства, питающего как постоянный источник энергии научное напряжение ученого, лежит не азартность, а нечто большее — этим источником всегда и навечно была и будет любовь. Пусть это звучит банально, но без способности любить — не только науку, но и жизнь саму, ученый не может быть талантлив; неспособный любить — всегда бездарен. О том, что яркий талант Виктора Петрова имел такую именно подоплеку, я поняла, когда по его совету, но уже после его смерти прочла рассказы ранее неизвестного мне Анатолия Кима. Их несомненная созвучность самому Виктору мне многое в нем прояснила.

Один из лучших рассказов — «Мышь пьет молоко». Сюжета нет, все обыкновенно и обыденно. Человек идет с поезда по тропинке в деревню, где, как выяснится в конце, ждет его жена — своя, а не чужая. Человек идет в благорастворении летнего дня, идет и любит — и медлит, продляя ожидание. Передать средствами языка, а не музыки нагнетание счастья — задача труднейшая. Киму она удалась, и смешное название отнюдь не смешно: в запашистых избяных сеньях мышь бесстрашно пьет молоко на виду у счастливой женщины, угадав звериным чутьем, что человек в таком состоянии никому не опасен.

Состояние счастья как естественная норма человека и как высшее духовное достижение в китайской древней философии определяется термином *цзыжань* — в переводе Алексеева «самоестественность». В указателе к «Поэме о поэте» Сыкун Ту среди определений к нему есть такое: «природное нутро, — не то, что добывается усилием и исправлением, не выкраивается... Самоестественность создает прекрасную радость...» [5, с. 471–472]. Думаю, что китаист Петров не обсмеял бы мою дилетантскую ассоциацию рассказа Кима с указателем Алексеева к поэме Сыкун Ту. В Викторе была сохранена эта самоестественность, изначальная древняя мудрость.

Пушкинское «самостоянье» и китайская «самоестественность» представляются мне главными определяющими и в научном творчестве Виктора Петрова, и в его нравственном состоянии. «Нравственное состояние ученого, — как глубоко заметил Л. З. Эйдлин, — вещь более хрупкая, нежели уровень необходимых знаний» [1, с. 13]. Вещь хрупкая — и единственно в этом мире твердая, способная противостоять катящейся на нас, как селя с горы, всепоглощающей пошлости.

Литература

1. Традиционная культура Китая: Сб. ст. к 100-летию со дня рождения акад. В. М. Алексеева. М., 1983.
2. Точность — поэзия науки: Памяти Виктора Васильевича Петрова. СПб., 1992.
3. Алексеев В. М. Наука о Востоке: Ст. и документы. М., 1982.
4. Чуковский К. Дневник: 1901–1929. М., 1991.
5. Милибанд С. Д. Биобиблиографический словарь отечественных востоков с 1917 г. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1995. Т. 1–2.
6. Дьяконов И. М. Книга воспоминаний. СПб., 1995 (серия «Дневники и воспоминания петербургских ученых»).
7. Алексеев В. М. Китайская литература: Избранные труды. М., 1978.
8. Алексеев В. М. Китайская поэма о поэте: Стансы Сыкун Ту (837–908) / Пер. с кит. и исслед. Пг., 1916.